



Пришла зима, и все, кто мог лететь,
покинули пустую рощу — прежде,
чем быстрый снег их перья смог задеть,
добавить что-то к легкой их одежде.
Раскраска — та ж, узор ничем не смят,
и пух не смят водой, в нее попавшей.
Они сокрылись, платья их шумят,
несясь вослед листве, пример подавшей.
Они исчезли, воздух их сокрыл,
и лес ночной сейчас им быстро дышит,
хоть сам почти не слышит шумных крыл;
они одни вверху друг друга слышат.
Они одни... и ветер вдаль, свистя,
верней — крича, холмов поверх лесистых,
швыряя вниз, толкая в грудь, крутя,
несет их всех — охапку тусклых листьев.
Раскрыты клювы, перья, пух летит,
опоры ищут крылья, перья твердой,
но пуще ветер в спины их свистит,
сверкает лист изнанкой красной, желтой.
Дуй, дуй, Борей, неси их дальше, прочь,
вонзайся в них стрелой бесплотной, колкой,
дуй, дуй, Борей, неси их вон из рощ,
то вверх, то вниз, толкай их, крылья комкай.
Дуй, дуй, Борей, неси их прочь во мгле,
щепи им клювы, лапки, что придется,
дуй, дуй, Борей, прижми их вниз, к земле,
узоры рви, прибавь с листвой им сходства.
Дуй, дуй, гони их прочь из этих мест,
дуй, дуй, кричи, свисти им вслед невнятно,
пусть круг, пятно сольются в ленту, в крест,
пусть искры, крест сольются в ленту, в пятна.
Дуй, дуй, пускай все станет в них другим,
пускай воззрится дрозд щеглиным взглядом,
пускай предстанет дятел вдруг таким,
каким был тот, кто вечно был с ним рядом.
Стволом? Листвой? Стволом. Нет-нет, листвой.
Пускай он сам за ней помчится следом.
Дуй, дуй, Борей, пускай под этот вой

сольется он с листвою не только цветом.
Пусть делит участь так, как кров делил,
пусть делит вплоть до снега, вплоть до смерти,
пускай кричит, чтоб Бог им дни продлил,
продлил листве — «с моими смерьте, смерьте».
Но тщетно, роща, тщетно, тщетно, лес,
не может слиться дом с жильцом, и вспышка
любви пройдет. Смотри, ведь он исчез.
А как же крик? Какой? Да тот. Ослышка.
Снег, снег летит, уж больше нет родства,
уж белых мух никто не клюнет слепо.
Что там чернеет? Птицы. Нет, листва,
листва к земле прижалась, смотрит в небо.
Не крылья это? Нет. Не клювы? Нет.
То листья, стебли, листья, стебли, листья,
лицом, изнанкой молча смотрят в свет,
нет, перьев нет, окраска волчья, лисья.
Снег, снег летит, со светом сумрак слит,
порыв последний тонкий ствол пинает,
лист кверху ликом бедный год сулит,
хоть сам того не знает, сам не знает.
Изнанкой кверху — грузный, полный год,
огромный колос — хлеб мышинный, птичий;
лицо к земле, не жди, не жди невзгод,
ищи в листве, ищи сейчас отличий.
Снег, снег летит, куда ты мчишься, мышь.
Уж поздно — снег, пора, чтоб все вы спали.
Зачем ерошишь копны, что шуршишь,
куда ты мчишь. Смотри, как листья пали.
Изнанкой кверху, ликом кверху, вниз,
не все ль одно — они простерлись ниц,
возврата нет для них к ветвям шумевшим.
Так что ж они шуршат, шумят, скользят,
пытаясь лечь не так, как вышло сразу,
сейчас земля и свет небес грозят
одной бедой — одною стужей глазу.
Да есть ли глаз. О нет. Да есть ли слух.
Не все ль одно, что скрыто в мертвых взорах.
Не все ль равно, коль он незряч и глух.
А есть ли голос. Нет — но слышен шорох.
Не все ль одно (листу) как лечь, как пасть,
земля поглотит, зимний снег застудит.
Один апрель во всем разбудит страсть,
разбудит страсть и шум в ветвях разбудит.

Не все ль равно, не все ль одно, как лечь,
не все ль равно, чем здесь к земле прижались,
разжали пальцы, вмиг прервали речь,
исчезли в ночь, умчались прочь, сорвались.
Во тьму, во мрак, застлали тьму ковром
неровным, пестрым, вверх и вниз изнанкой.
Не все ль одно — и снег блестит как хром,
искрясь венцом над каждой черной ранкой.
Не все ль равно — нет-нет, блестит звезда,
листа безмолвно слышит крик суровый,
слова о том, что в смертный миг уста
шепнут — то их настигнет в жизни новой.
То станет пылью, что в последний миг
небесный свет зальет; то станет гнилью,
что смотрит в землю, — листья слышат крик,
и шум вослед стремится их усилю.
Что видит глаз, о чем шепнут уста,
что встретит слух, что вдруг коснется мозга,
настигнет снова скрытый вид листа...
ищи вокруг... быстрее... пока не поздно.
Снег, снег летит; о чем в последний миг
подумаешь, тем точно станешь после, —
предметом, тенью, тем, что возле них,
птенцом, гнездом, листвою, тем, что подле.
При смерти нить способна стать иглой,
при смерти сил — мечта — желаньем страстным,
холмы — цветком, цветок — простой пчелой,
пчела — травой, трава — опять пространством.
Скворец в гнезде спешит сменить наряд
(страшась тех мест, где — мнит он — черно, пусто),
вступающий в известный сердцу ряд,
живущий в подтвержденье правды чувства.
Про это вспоминает край лишь тот,
где все полно жужжанья, крику, свету,
борясь, что сил, с виденьем тьмы, пустот,
отчаянно к себе зовет победу:
«Вернись же, лето. Стог, вернись хоть стог.
Вернись же, лето, что ж ты прочь из мозга
летишь стремглав, вернись хоть ты, росток
ночной травы, вернись, уж поздно, поздно.
Вернись хоть стог, вернись хоть сноп, хоть жгут,
вернись хоть серп, вернись хоть клоч туманный
в рассветный час, вернись, вернись, лоскут
туманной ленты в сонной роще рваный.

Прочь, прочь, ночной простор (и блеск огня),
прочь, прочь, звезда над каждой черной кроной,
прочь, прочь, закат, исчезни, сумрак дня,
прочь, прочь, леса, обрывы, грач с вороной.
Прочь, прочь, холмы, овраги, тень куста,
прочь, прочь, лиса, покиньте, волки, память.
Прочь, клевер, мох, сокройтесь в те места,
где ветер мчит: ведь вас ему не ранить.
Прочь, ветер, прочь, вокруг еще светло.
Прочь, прочь, листва — с ветвей, от взора — скройся.
Прочь, лес родной, и прочь, мое крыло,
из мозга прочь, закройся клюв, не бойся».
Снег, снег летит. Прощай, скворец в гнезде.
Прощай, прощай, борись за то, чтоб вспомнить.
Спеши, спеши, смотри: уж снег везде.
Родной весной попробуй ум наполнить.
Снег, снег летит. Вокруг бело, светло.
Одна звезда горит над спящей пашней.
Чернеет лес, озера льдом светло,
и твой на дне заснул двойник всегдашний.
Засни и ты. Забудь тот крик, забудь.
Засни и ты: смотри как соснам спится.
Всегда пред сном твердишь о чем-нибудь,
но вот в ответ совсем другое снится.
Снег, снег летит, скрывая красных лис,
волков седых, озерным льдом хрустящих,
и сны летят со снегом вместе вниз
и тают, здесь, во тьме, меж глаз блестящих.
Снег, снег летит, и хлопья быстро льнут
к ночным путям, к флюгаркам мертвых стрелок
и к перьям их, огни на миг сверкнут,
и вновь лишь ночь видна — а где — в пробелах.
Снег, снег летит и глушит каждый звук,
горох свистков до снежных баб разносит,
нельзя свистеть — и рынду рвет из рук —
нельзя звонить, и рельсы быстро косит.
Нельзя свистеть. Нельзя звонить, кричать.
Снег, снег летит, и нет ни в ком отваги.
Раскроешь рот, и вмиг к устам печать
прильнет, сама стократ белей бумаги.
Снег, снег летит, и хлопья льнут к «носкам»,
к кускам угля, к колодкам, скрытым шлаком,
к пустынным горкам, к стрелкам, к «башмакам»,
к пустым мостам, к пикетным снежным знакам.

А где столбы. Их нет, их нет, каюк.
Нельзя снести ни с чем посредством почты.
Нельзя свистеть, нельзя звонить на юг,
стучать ключом, уж только избы — точки.

Снег, снег летит, и хлопья льнут к трубе,
к «тарелкам» льнут, к стаканам красным, к брусу,
к латуни льнут, сокрывшей свист в себе,
к торцу котла, к буграм разборным, к флюсу.
Заносит все: дыру, где пар пищит,
масленку, болт, рождает ужас точность,
площадки все, свисток, отбойный щит,
прожектор скрыт, торчат холмы песочниц.
Заносит все: весь тендер сверху вниз,
скрывает шток, сугроб растет с откоса,
к кулисам льнет, не видно щек кулис,
заносит путь, по грудь сокрыл колеса.
Где будка? Нет: один большой сугроб.
Инжектор, реверс, вместе с прочей медью,
не скрипнув, нет, нырнули в снежный гроб,
последний дым послав во тьму за смертью.
Все, все занес. Нырнул разъезд в пургу.
Не хочет всплыть. Нет сил скитаться в тучах.
Погасло все. «Столыпин» спит в снегу.
И избы спят. Нет-нет, не будит ключ их.
Заносит все: ледник, пустой думпкар,
толпу платформ заносит ровно, мерно,
гондолы все, больших дрезин оскал,
подъемный парк, иглу стрелы, цистерну.
Заносит пульмана в полночной мгле,
заносит крыши, окна, стенки, двери,
подножки их, гербы, замки, суфле,
зато внутри темно, по крайней мере.
Пути в снегу, составы, все в снегу,
вплетают ленты в общий снежный хаос,
сливаясь с ним, срываясь с ним в пургу.
Исчез вокзал. Плывет меж туч пакгауз.
Часы — их нет. И желтый портик взят
в простор небес — когда? — не вспомнить часа.
Лишь две дуги карнизов тут скользят,
как буквы «С», слетев со слова «касса».
Исчезло все, но главный зимний звук
нашел себе (пускай безмолвный) выход.
Ни буквы нет на сотню верст вокруг.

Но что сильнее — сильней, чем страсть и прихоть?
Но все молчит, но все молчит, молчит.
И в самой кассе здесь не видно света,
весь мир исчез, и лишь метель стучит,
как поздний гость, в окно и в дверь буфета.

«Огонь и свет — меж них разрыва нет».
Чем плох пример? хоть он грозит бездушьем
тому, кто ждет совсем иных примет:
союз с былым сильней, чем связь с грядущим...
Метель стучит. Какой упорный стук.
Но тверд засов, и зря свеча трепещет.
Напрасно, зря. И вот уж стул потух,
зато графин у входа ярко блещет.
Совсем собор... Лишь пол — воды черней.
Зато берега светлы, но ярче — правый...
Холмы, как волны, но видней вдвойне,
и там, в холмах, блестит собор двуглавый.
Состав подгонишь — все блестит как снег.
Холмы как снег, и мост — как будто иней
покрыл его, и как там братъ разбег:
зеленый там горит совсем как синий.
Молчанье, тишь. Вокзал лежит в тени.
Пути блестят. «Какой зажгли?» — «Как будто...
как будто синий». — «Спятил». — «Сам взгляни».
Взаправду в небе лютик светит смутно...
Налей еще... вон этой, красной. Да...
Свеча дрожит, то ту, то эту стену
залив огнем... Куда ты встал, куда?
Куда спешишь: метель гремит. «На смену».

Вон этой, красной... лучше вместе с ней
терпеть метель и ночь (ловлю на слове),
чем с кем живым... Ведь только кровь — красней...
А так она — погуще всякой крови...
Налей еще... Смотри: дрожит буфет.
Метель гремит. Должно быть, мчит товарный...
Не нравится мне, слышишь... красный цвет:
во рту всегда какой-то вкус угарный.
В Полесье, помню, был дощатый пост...
Помощник жил там полный год с родными.
Разбил им клумбы... все тотчас же в рост...
А маки, розы — что ж я делал с ними?
Поверишь — рвал, зрачок не смог снести

оскомы той — они и так уж часты.
Поверишь — рвал... бросал в песок, в кусты.
Зато уж там — повсюду флоксы, астры...
Не верь, не верь. Куда ж ты встал? Пора?
Ну что ж, ступай. Неужто полночь? Полночь.
Буфет дрожит, звенит. Тебе с утра?
Белым-бело... Бог в помощь... ладно... В помощь.

Метель гремит. Товарный мчит во тьму.
Буфет дрожит, как лист осенней ночью.
Примчался волк и поднял лик к нему.
Глядит из туч Латона вместе с дочью.
Состав ревет — верней, один гудок
взревел во тьме — все стадо спит — и скрежет
стоит такой... того гляди, как рог,
в пустой буфет громадный буфер врежет.
Дрожит графин, дрожит стакан с вином,
дрожит пейзаж, сползает на пол веник,
дрожит мой стол, дрожит герань с окном,
ножи звенят, как горстка мелких денег...
А помнишь — в Орше: точно так же — ночь.
Весна? весна. А мы в депо. Не вспомнил?
Буфет открыт — такой, как здесь, точь-в-точь.
Луна горит, и звезды смотрят в Гомель.
На стрелке — кровь. А в небе — желтый свет:
горит луна меж всех созвездий близких.
Не грех смешать — и вот он дал в буфет,
и тот повис на двух чугунных дисках.

Торец котла глядит своей звездой
невесть куда, но только прочь от смерти.
Котел погас. Но дым валит густой.
(Сама труба нет-нет мелькнет в просвете.)
Горит буфет; и буфер влез в огонь,
вдвоем с луной дробясь в стекле бутылок.
Трещит линоль, и к небу рвется вонь,
прожектор бьет сквозь черный стул в затылок.
Пылает стол, взметает дым кайму
бумажных штор, и тут же скатерть, вторя
струе вина, в большой пролом, во тьму
сквозь весь пожар бежит, как волны моря.
Светлым-светло, глазам смотреть невмочь,
как край стекла, залитый светом, блещет.
Задев его, снаружи льется ночь,

густой рекой беззвучно на пол хлещет.
И щель в полу дрожит: сейчас хлебну.
Не трусь! Не трусь! Трещат торцы сухие.
Салат и сельдь, сверкнув, идут ко дну.
Тарелки — вдрызг, но сельдь в своей стихии.
Лишь ценник цел (одна цена, без слов!),
торчит из волн (как грот, выдавший виды).
Иным пловцам руно морских валов
втройне длинней, чем шерсть овец Колхиды.
И пламя — в дверь. Но буфер дверь прижал.
В окно — нельзя: оттуда звезды льются.
Еще чуть-чуть, и ночь зальет пожар.
Столкнув яйцо, огонь вскочил на блюде.
И вплавь, и вплавь, минуя стойку, печь,
гребя вдоль них своей растущей тенью
к сухой стене, — но доски дали течь,
буфет осел и хлещет наземь темью.

Шипит мускат, на волны масло льет.
Чугунный брус прижался к желтым стульям.
Торец котла своей звездой вперед,
Бог весть куда, глядит сквозь бывший пульман.
Бегун в песке. Другой бегун — в леске.
Блестящий рельс сплелся с кулисой насмерть.
Нельзя разнять. И шток застыл в броске.
И тендер сам по грудь зарылся в насыпь.
Улисс огня плывет в ночной простор.
Кусты чадят. Вокруг трава ослепла:
в былую жизнь прожектор луч простер,
но в данный миг пред ним лишь горстка пепла.
А в нем пейзаж (не так ли жизнь в былом) —
полесский край, опушка в копнах сена,
изгиб реки; хоть тут железный лом
сейчас блестит сильней излучин Сейма.
Былое спит. И сильный луч померк.
Отбойный щит в сухой траве простерся.
Одна труба взглянуть способна вверх:
луна ведет подсчет убыткам ОРСа.

Пожарник, спать, и суд линейный, спать!
Полесье, спать! Метель пошла тиранить.
Чугунный конь бежит по рельсам вспять.
Буфет, кряхтя, встает, упершись в память.
На стрелке — гм — неужто там салат?

Нет-нет, взгляни: салат блеснет в тарелке.
Инспектор, спать! (А суд линейный рад.)
А где же сельдь? Должно быть, вышла к стрелке.
На стрелке — черт, налей еще сюда.
Налей еще вон этой, красной. Впрочем,
налей вон той, чуть-чуть... ах, там вода.
Тогда давай уж красной. Стоп. Не очень.
На стрелке — черт! Как застит свет слеза.
Неужто пьян? Нет-нет, послушны ноги...
А в небе что? — Не грех закрыть глаза.
Закрывать глаза и вверх свернуть с дороги.

Повсюду ночь. Нырнул в пургу откос.
Флюгарки спят в своей застывшей жести.
Инспектор, прочь! Не суй свой длинный нос.
Быстрее вали в постель с портфелем вместе.
Инспектор, спать! Ни рук, ни глаз, ни уст —
блестит окно, инспектор дремлет дома.
Стакан мой пуст, и вот буфет мой пуст,
и сам я пьян, чтоб клясть портфель фантома.
Пурга свистит. Зрачок идет ко дну
в густой ночи. Нужна ли страсти память?
Слезится глаз. Нужна, как ночь огню.
Что ж! тем верней во мрак хрусталик канет.
Вперед, зрачок. Слезись. Не клюнет сельдь.
Леса (слеза) дрожит, и к тонкой жерди
стремится дрожь — и вот трепещет жердь:
леса длинна, но вряд ли глубже смерти.
Кто клюнул? Смерть? Ответь! Леса кружит,
и гнется жердь, как тонкий мост — вернее:
леса кружит, и вот мой мозг дрожит:
втянуть сюда иль кануть вслед за нею?

Снег, снег летит. Куда все скрылись, мать!
Стаканы спят, припав к салфеткам грязным.
Лишь печь горит, способна век внимать,
раскрыв свой рот, моим словам бессвязным.
Гори, гори и слушай песнь мою.
И если нет во мне стремленья к мнимым
страстям — возьми ее в струю,
в свою струю — и к небу вместе с дымом.
Зрачок на дне. Другой в огне. При мне
лишь песнь моя да хлеб на грязной вилке.
Гори сильней. Ведь каждый звук в огне

бушует так, как некий дух в бутылке.
Пусть все мертво. Но здесь, в чужом краю
в час поздний, печь, быть может, в час последний,
я песнь свою тебе одной пою;
метель свистит, и ночь гремит в передней.

Пришла зима. Из снежных житниц снег
летит в поля, в холмы, в леса, в овраги,
на крыши к нам (щедра!), порой — до стрех
скрывает их — и те белей бумаги.

Пришла зима. Исчез под снегом луг.
Белым-бело. И видит каждый ворон,
как сам Борей впрягся в хрустальный плуг,
вослед норд-ост влечет упряжку борон.
Греби, греби, свисти, свисти. Шалишь!
Ведь это всё, не правда ль, ветры, прихоть.
Ну что взойдет из наших темных крыш?
Какой росток из наста пустит Припять?

Греби, греби, свисти, свисти, зима.
Свисти, Борей, и мчись, норд-ост, меж просек!
Труба дымит. Лиса скользит с холма.
Овца дрожит. Никто не жнет, не косит.
Никто не жнет. Лишь мальчик, сжав снежок,
стащив треух, ползет на приступ скрытно.
Ура, сугроб! и ядра мечет в бок.

Ура, копна! хотя косцов не видно.
Греби, греби, свисти, свисти, скрывай
от взоров лес, поля, овраги, гумна,
заборы, пни, и край земли сливай
с чертой небес безумно, нет, бездумно.
И пусть — ни зги, и пусть уж нет дорог
меж сел, меж туч, и пусть пурга тиранит.
Того гляди, с пути собьется Бог

и в поздний час в Полесье к нам нагрянет.
Греби, греби, греми, как майский гром.
Спеши, спеши попасть в поля разверсты.
Греми, греми, раскрой и тот закрой,
раскрой закрой, откуда льются звезды.
Раскрой врата — и слышен зимний скрип,
и рваных туч бегут поспешно стаи.
Позволь узреть Весы, Стрельца и Рыб,
Стрельца и Рыб... и Рыб... Хоть реки стали.
Врата скрипят, и смотрит звездный мир
на точки изб, что спят в убранстве снежном,

и чуть дрожит, хоть месяц дым затмил,
свой негатив узрев в пространстве снежном.

Пришла зима. Ни рыб, ни мух, ни птиц.
Лишь воеет волк да зайцы пляшут храбро.
Стучит пешня: плотва, встречай сестриц!
Поет рожок, чтоб дать мишень кентавру.

1964—1965